

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Родительская кровь



Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
Родительская кровь
Серия «Уральские рассказы»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=327052

Аннотация

Впервые напечатан в журнале «Вестник Европы» (1885, № 5). При жизни автора перепечатывался в составе «Уральских рассказов».

Содержание

I	4
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк Родительская кровь

I

Лес, лес и лес... Настоящий дремучий сибирский лес, сохранившийся в этой местности каким-то чудом, потому что кругом, на сотни верст, все настоящие леса давным-давно сведены и выжжены заводчиками. Этот лес известен под именем «середовины», потому что лежит на границе казенной дачи и дачи Пластунских заводов; по мнению главного пластунского лесничего, он принадлежит Пластунским заводам, а по мнению казенных лесничих, — казне. Это спорное положение спасло «середовину» от конечного истребления, но в недалеком будущем ее постигнет общая участь всех уральских лесов — она будет, конечно, истреблена до последнего дерева, как умеют истреблять леса только на Урале.

Одним краем «середовина» упирается в широкое торфяное болото, а другим прилегает к каменистой грядке невысоких увалов; болото уходит далеко на север, где в синеватой мгле встают уже настоящие горы. Если смотреть на окрестности с вершины одной из этих гор, картина представляется

довольно оригинальная, особенно рано утром, когда болото покрыто еще туманом; болото разлеглось неправильным разливом на десятки верст, на нем отдельные горки и увалы выдаются, как острова или гигантские бородавки, а «середовина» кажется громадной черной овчиной, растянутой по неровной, чуть заметно всхолмленной поверхности. В Среднем Урале таких картин слишком много, и с каждым шагом на север эти болотины разрастаются все шире и шире.

Лес в «середовине» сосновый, дерево к дереву, как восковые свечи, и только по опушке образовался смешанный подсед из березняков, рябины и черемухи, который на болоте переходит в настоящий болотный «карандашник», то есть в чахлые и корявые березки, в кривые тонкие сосенки-карлицы, тальник, ивняк, и кусты смородины. Этот карандашник точно заражен золотухой или английской болезнью, но сосны-карлицы имеют по сту лет и более. Тяжело смотреть на такое дерево-урод: ствол непропорционально тонок, узловат, во многих местах согнут и покрыт совсем особенной мертвой корой, есть даже гнилые язвы, из которых сочится мокрота; рядом с этим золотушным, чахлым лесом середовинский бор является какой-то лесной гвардией, где каждое дерево — богатырь...

Здесь необходимо заметить, что «середовина» служила гранью между северным дремучим лесом и лесными породами средней полосы: там, где высились синие горы, залегли беспросветные ельники, пихтарники и кедровники, там тя-

нутся к небу своими распростертыми коряжистыми ветвями едва опушенные бледной зеленью листвени, а к югу пошли веселые светлые бора, березняки, липовые острова. На севере сосна является исключением, как ель на юге, да и северная сосна такая жалкая, вытянутая и голая сравнительно с коренастыми гвардейцами той же «середовины». В настоящем северном лесу-таежнике чувствуется какая-то глубокая печаль, точно вся природа закуталась в темно-зеленый траур; не то в «середовине», где было так светло и просторно, как под высокими стрельчатыми сводами какого-то гигантского храма. Всякая дичь любила держаться около этой «середовины»: по опушкам кормились табуны поляшей (косачи), рябчики, вальдшнепы, в глубине – глухарь, в болоте – дупеля и т. д. Одним краем через «середовину» протекала река Пластунья, очень болотистая и иловатая в верхотинах, но делавшаяся чище в низовьях, точно она проходила чрез какой-то невидимый фильтр, в котором оставляла ил, тину и крутившуюся в ее струях желтоватую муть.

Около этой «середовины» была отличная охота: весной по опушкам тянули вальдшнепы, на лесных прогалинках токовали косачи; в перелет Пластунья покрывалась утками и гусями, – летом здесь кормились отличные выводки, а глухой осенью, по первой пороше, били косачей с подъезда и на чуело. Прибавьте к этому зайцев и волков, которые перебивались около «середовины», а по весеннему «насту» здесь была отличная охота на диких коз и даже оленей, хотя олень редко

заходил в «середовину», потому что кругом было уже слишком голо. Ввиду такого разнообразия дичи охотников всегда тянуло в «середовину», которая во всем своем составе на двадцативерстном расстоянии находилась под наблюдением всего одного сторожа, известного у охотников под названием Прохорыча, или попросту – «Секрета». Кто дал Прохорычу это название: Секрет – неизвестно, но оно как нельзя лучше шло к нему: Секрет так секрет и есть. Самая физиономия Прохорыча изобличала его «секретное» происхождение: широкое русское лицо, узенькие голубые глазки, глядевшие как-то тревожно и таинственно, рыжая окладистая бородка, сдвинутые заботливо брови, особенно когда Прохорыч начинал закручивать длинный тараканий ус. Говорил он отрывисто, какими-то обрывками фраз, и любил выражаться иносказательно и даже своим особенным высоким слогом, потому что сильно понаметался около господ. Костюм Секрета составлялся очень замысловатым образом из разного тряпья, хотя он и держался в нем с большим гонором, потому что чувствовал себя записным охотником, а записные охотники всегда щеголяют в сборных костюмах – это своего рода мода и щегольство.

Сторожка Секрета приткнулась к самому бору и была заслонена со стороны болота редким березняком, так что незнакомый человек по самым точным указаниям, когда приходится поворачивать десять раз направо и столько же налево, едва ли отыскал бы замысловатое жилище Секрета,

особенно летом, когда оно совсем пряталось в зелени.

— Как-то я сам плутал-плутал по лесу-то, а своей избушки не нашел, — объяснял Прохорыч знакомым охотникам, молодцевато закручивая усы. — Конечно, маненько в разу был... от знакомого барина ехал... славный такой барин в городе у меня есть. Ну, поднес мне стаканчик, да три стаканчика на свои выпил, в глазах-то и задвоило... Почитай, целную ночь по середовине ездил да в лесу и заснул, а избушки не доехал, будет — не будет, сажен двести.

Снаружи сторожка Секрета была просто вросшая в землю лачуга, сильно покосившаяся на один бок; вместо крыши была насыпана толстым слоем земля, покрытая густой травой и даже молодыми березками. Около этого дворца из сухарника была пригорожена «стая» для скотины и небольшой пригон. Внутренность сторожки заключалась всего в одной комнате — направо небольшая русская печь, налево в углу стол, сейчас от двери около стены деревянная кровать, две скамьи, колченогий стул — и только. На стене над кроватью висело два ружья, около печки полочка с посудой, под кроватью разбитый сундук с движимым, на покосившемся окне вечный горшок с красным перцем — дальше этого желания Прохорыча не шли, потому что Прохорыч в душе был немножко философ и, как все философы, жил по преимуществу духом. В этой избушке Прохорыч проживал со своей женой Власьевной и с двумя белоголовыми ребятишками и, кроме того, ухитрялся держать еще квартирантов — то

каких-то каменотесов, то приисковых старателей, то гуртовщиков; кроме того, у него останавливались всегда охотники, особенно летом, когда кругом «середовины» было настоящее раздолье. Жена у Прохорыча, бабенка лет тридцати пяти, была как раз ему под пару и постоянно ходила с каким-то испуганным лицом.

– А вы вот что мне скажите, барин, – приставал Секрет к каждому новому знакомому, – чем я теперь живу в лесу?..

– Как чем: ведь ты жалованье получаешь, как лесник...

– Я? Жалованье?.. Мое жалованье вот какое: приду к казенному лесничему за месячным, а он мне: «Ты проси у пластунского управителя жалованье-то, потому середовина-то ихняя», ну, я в Пластунский завод, там немец Бац управителем, ну, он гонит за жалованьем к казенному лесничему, потому, говорит, середовина казенная... Уж ходишь-ходишь, кланяешься-кланяешься. А бывает и так, что два жалованья получишь... Ей-богу!..

В качестве записного охотника Секрет врал любую половину, но его средства действительно были сомнительны, и он больше кормился от приезжавших охотников.

– Кабы не господа – пропадай! – заявлял Секрет сам. – От господ только и питаешься, особливо к Ильину дню, когда из Пластунского завода, из Боровков и из прочих местов народ страдовать начинает. Баб тогда по покосам множество, а господам это даже весьма любопытно бывает... Боровские-то кержанки вон какие, Христос с емя: точно ямистая репа, ну

и гулеванки тоже, когда мужиков близко нет. Что этого вина в те поры с господами выпьешь – страсть!.. Ну, зимой, обыкновенно, тишина, а к лету опять и оттаешь... С ранней весны кружить-то начинаем, только тут смотри: одних господ не успел проводить – другие катят, да так кругом и идет. Народ все прахтикованный, сейчас к каждому применяешься: кому и что – один насчет водки, другой за бабами, третий куликов стреляет, а есть и такие, что едут просто сами себя удивлять... Ей-богу, такие фокусы строят – кто что придумает!..

Господа, приезжавшие на охоту в «середовину» из города и с заводов, для Секрета служили неистощимым источником для самых пикантных рассказов, причем одним из главных действующих лиц являлась всегда водка.

– Лучшие самые господа приезжают, – объяснял Секрет при каждом удобном случае. – Пьешь, пьешь, даже совестно в другой раз сделается... а нельзя, потому я должен уважить.

Одним словом, в качестве «прахтикова иного» мужика Секрет умел «утрафить» всем и благодаря такой изворотливости ухитрялся существовать почти безбедно. Но у Секрета была и своя хорошая сторона: он горой стоял за свою «середовину» и постоянно сражался с лесоворами, которые делали набеги на его участок. Лесоворный промысел на Урале распространен как нигде и обратился в настоящую профессию, потому что отвода лесных наделов населению еще не произведено. Вы услышите очень часто стереотипную фразу, что такой-то «занимается по лесоворной части», как другие

занимаются по части приисковой, кожевенной, сундучной и т. д. И нужно заметить, что эта «лесоворная часть» организована отлично, на разбойничий манер, так что с лесоворами происходят у лесной стражи настоящие сражения. Секрет лез на стену при одном имени лесоворов.

– Варнаки и душегубы все до единого, – кричал Секрет, начиная показывать полученные в разное время рубцы и членовредительства. – Во как по пояснице изуважили в позапрошлом году, – пять ден вылежал... А то по глазу хлопынули в том году, так думал: смерть моя, а уж что было по затылку кладено – и счет потерял.

– Да ведь и ты им не пирогами откладываешь?

– Обнакновенно, разговор короткий; я их, варнаков, вашескородие, сухим горохом стреляю... На, носи – не потеряй, голубчик!.. И только расшельма и народец: один беспальный ездит, а другой – с одной левой рукой. Такие кряжи заворачивают – страсть, вершков двенадцати. Что же, должен я на них смотреть, вашескородие, сложа руки?.. Сколь мога и я их веселю... Больно уж зимой одолевают: цельную ночь сторожишься другой раз. Не одна меня спалить начисто хотели, да пока бог хранит, что дальше. Боятся они меня, потому как я вполне отчаянный человек насчет лесу... Божже сохрани!

Иногда на Секрета от этих воспоминаний нападало тяжелое раздумье, и он с неподдельной грустью прибавлял:

– А несдобровать, барин, середовине-то... ох, несдобро-

вать!..

– Почему так?

– Да уж так: сердце чует... Пятнадцать годов я здесь выжил, а теперь сумлеваюсь. Как-то Бац говорит мне: «Ну, Секрет, пиши духовную своей середовине, скоро мы ее за себя переведем, и сейчас только одни угольки останутся». Точно он меня ножом полыхнул... И переведут, бесприменно переведут, потому кругом голо – один карандашник, ну, на середовину теперь зубы и точат. Ноне ведь в Пластунском заводе сплошной немец пошел... Уйму леса извели проклятушие, точно они его жрут, потому известно – чужое, разве жаль его: повертится немец-то год – два, сведет лес, да и хвост убрал. Нет, видно, шабаш середовине...

Однажды в конце июля я сильно опоздал на охоте, до города было далеко, и я отправился переночевать к Секрету. В лесу уже было совсем темно, когда я подходил к сторожке со стороны «середовины». Секрета не оказалось налицо, а Власьевна даже не повернула головы в мою сторону и только сердито ткнула рукой по направлению горевшего огонька, разложенного под березками, саженьях в двадцати от сторожки.

– Мне бы самовар, – попросил я, но Власьевна и на этот раз точно так же не удостоила ответом, а только махнула рукой в прежнем направлении.

Эта немая сцена в переводе обозначала то, что самовар под березками и что Секрет прохлаждается там с какими-то

хорошими господами. Оставалось идти под березки – очень веселое и тенистое место днем, – господа весьма «уважали» эти березки. Ночевать летом в избушке Секрета нечего было и думать, потому что там вечно стояла какая-то отчаянная кислая духота, и охотники обыкновенно располагались под открытым небом у огонька.

– В самый раз, вашескородие... прреотлично! – встретил меня Секрет, торопливо вскакивая с земли. – А мы тут с Евстратом Семеновичем чайшко швыркаем и насчет мухи...

Прямо на траве стоял кипевший самовар, тут же торчала початая бутылка водки и какая-то сомнительная снедь в измятой газетной бумаге; огонек едва дымил, отгоняя зудевших в воздухе комаров, а около него, растянувшись на траве, лежал громадного роста «мушина», как говорят горничные. По длиннополному сюртуку, красной рубахе навыпуск и подстриженным в скобку волосам лежавшего «мушину» нельзя было отнести в разряд настоящих господ, а скорее это был какой-нибудь гуртовщик или прасол. Прислоненное к дереву дешевенькое тульское ружье и развешанные на сучьях какие-то лядунки доказывали несомненную принадлежность «мушины» к лику охотников.

– Они по торговой части, из Пластунского завода, – лебезил Секрет, закручивая усы. – Может, слышали: Важенин, Евстрат Семеныч?.. Бакалейное и колониальное заведение и галантереи...

– Не ври ты, ради Христа, – отозвался лениво Важенин,

не поворачивая головы в мою сторону. – Полфунта чаю да голова сахару – вот и вся наша колониальная торговля...

Важенин тихо засмеялся пьяным самодовольным смехом и сел. Это был видный черноволосый мужчина под сорок; свежее румяное лицо, окладистая черная, как смоль, борода, белые зубы и певучий грудной тенорок делали его моложе своих лет, и он смотрел настоящим молодцом. Серые глаза, опущенные длинными загнутыми ресницами, заметно слипались, потому что Важенин был «в разу» и сильно раскачивался на месте. Это лицо и особенно ленивая улыбка показались мне знакомы, но я не мог припомнить в числе моих знакомых фамилию Важенин.

– Побаловаться чайком, – приглашал Важенин, улыбаясь блаженной улыбкой захмелевшего человека. – А мы вот тут того маненько... разгрызли полштофчик.

Пока Секрет рассказывал, как они «дрызнули» после чая, я успел освободиться от разной охотничьей сбруи и с удовольствием растянулся на траве; около меня улегся мой Бекас, коричневый пойнтер, уставший, кажется, больше меня. Положив свою лобастую умную голову мне на сапог, собака, прищулив желтые глаза, внимательно смотрела на суетившегося около самовара Секрета и с видимым удовольствием нюхала воздух.

– Это ваша собачка? – спрашивал Важенин, когда я уже допивал второй стакан. – Ничего, форменный песик... А вот я, грешный человек, не люблю собак. Вы чему это смеетесь?

– Да так... Извините, нескромный вопрос: вы из старообрядцев?

– Около того... по родителям-то совсем кержак, а самто по себе, пожалуй, и православный. А вы почему подумали обо мне, что я из старообрядцев?

– Потому что все старообрядцы не любят собак...

– Верно, есть такой грех. А знаете, почему не любят-то?

– Нет.

– А потому не любят, что бес являлся многим угодникам в образе пса... Это и в книгах написано.

Мы разговорились, и я окончательно убедился, что гдето встречал этого Важенина, но где – не мог припомнить никак.

– Вы меня не узнаете? – спросил я, наконец. – Я гдето вас встречал, а не помню, где...

Я назвал свою фамилию. Важенин внимательно посмотрел на меня и с улыбкой проговорил:

– Даже, можно сказать, весьма вас помню... Этому уж лет шесть будет, как вы у меня даже в гостях были в Пластунском заводе. Запомятавали? Да и то сказать, что вам и помнить-то трудно этот самый случай, потому как вас ко мне привезли в лежку....

– А, теперь вспомнил, – обрадовался я и тоже засмеялся.

Моя встреча с Важениным была действительно довольно оригинальна. Поздней осенью я был на охоте в горах около Пластунского завода и схватил сильнейшую простуду, кончившуюся плевритом; больного меня отправили на место

жительства, и я в первый раз пришел в себя в каком-то совершенно незнакомом доме. Как теперь вижу маленькую комнату с крашеными лавками, я лежал на кровати, а против меня у русской печки сидел вот этот самый Важенин и внимательно смотрел на меня. Помню, что мне ужасно было тяжело – томила жажда, кружилась голова и перед глазами ходили какие-то круги, но одна фраза, сказанная Важениным с какой-то детской наивностью, заставила меня рассмеяться. Смотрел, смотрел он на меня, встряхнул намасленными волосами и каким-то необыкновенно добродушным тоном проговорил:

– А ведь вы, господин, помрете... ей-богу, помрете!..

Я напомнил этот эпизод Важенину, и мы посмеялись вместе.

– А плохо ваше место было тогда, – говорил он, наливая себе и мне по стаканчику. – Конечно, в животе и смерти один господь волен, а вот и встретились... Может, еще и меня переживете, – прибавил Важенин и грузно вздохнул своей могучей мужицкой грудью. – Мы так думаем по своему разуму, а господь строит другое... Пожалуйте!..

В конце июля летние ночи на Урале бывают особенно хороши: сверху смотрит на вас бездонная синяя глубина, мерцающая напряженным фосфорическим светом, так что отдельные звезды и созвездия как-то теряются в общем световом тоне; воздух тих и чутко ловит малейший звук; спит в тумане лес; не шелохнувшись, стоит вода; даже ночные птицы,

и те появляются и исчезают в застывшем воздухе совершенно беззвучно, как тени на экране волшебного фонаря. Что-то такое торжественное и великое чувствуется в такой ночи, которая проходит над спящей землей неслышными шагами, как таинственная сказочная красавица, чарующая все кругом уже одним своим присутствием. Именно была такая ночь, когда мы прохлаждались у Прохорыча под березками. Несмотря на усталость после охоты, спать совсем не хотелось, да и нужно было потерять всякую совесть, чтобы проспять такую ночь, как спал, например, Бекас, свернувшись кренделем около огонька. «Середовина» превратилась в темную сплошную глыбу, затаившую в себе все звуки; по болоту ползал волокнистый туман, сквозь мертвую тишину чуть-чуть проносился какой-то смутный шепот, заставлявший собаку вздрагивать.

Секрет подбрасывал в огонь щепочек, закручивал усы и облизывался, поглядывая на бутылку с водкой.

– Так ты, Евстрат Семеныч, значит, приходишь¹ на свово-то родителя? – спрашивал Секрет, очевидно продолжая разговор, который они вели до меня.

– Приходить не прихожу, а к слову сказать, – уклончиво ответил Важенин, перевертываясь на другой бок. – Рассуди, голова с мозгом: кабы ежели тогда покойный родитель определил меня к Михряшеву, да ведь я бы теперь деньгам сче-

¹ «Приходишь» – в переносном смысле, по местному говору, значит «жалуешься». (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

ту не знал, а тут изволь по копеечке да по грошику сколачивать... Михряшев-то тогда по заводам страсть гремел – первый человек был, потому деньжищ уйма и везде кабаки и лавки с панским товаром. Приказчиков одних у него двадцать человек было, а он меня еще у Ивана Антоныча видал... Я тогда в казачках при Иване Антоныче состоял, и все, бывало, в передней торчишь, ну, Михряшев бывал у нас и заметил. Денег даже давал, когда под пьяную руку придет. У Ивана Антоныча разливанное море было, потому прежние заводские приказчики жили не по-нонешнему: вон наши пластунские управителя не живут, а жмутся. Тогда и жалованьишка малюстенные были, а ничего, жили. Н. у, Михряшев свой человек был и приметил меня, потому как был я парень чистяк: кровь с молоком. Как-то разговорились они промежду себя пьяные, ну, Михряшев и выпросил меня у Ивана Антоныча, чтобы в лавку посадить. Совсем дело на мазе было, да родитель поднялся на дыбы: не хочу и конечно, потому Михряшев хоша и из наших старообрядцев, а совсем обмиршился и все компанится с бритоусами и табашниками.

– Да ведь и Иван-то Антоныч миршил тоже?

– Вот поди ты... «Ты, говорит родитель, у приказчика служишь в казачках не по своей воле, – потому крепостной человек, – и греха на тебе нет, а как перейдешь к Михряшеву – и грех примешь на душу, – потому своя воля...»

– А ведь оно, пожалуй, и тово, верно сказано-то...

– Уж на что вернее!.. Покойный родитель постоянный был

человек и как слово сказал, как ножом обрезал. Он в те поры в заключении находился...

– А все-таки жаль: из-под носу ушло богатство-то, – жалел Секрет, мотая своей беспутной головой. – Все михряшевские приказчики вон как ноне живут: все до единого в купцы вышли, и ты бы вылез, кабы не родитель.

– Беспременно бы вылез, потому Михряшев напоследки сильно ослабел, а приказчикам это и на руку: все растащили... Даже жаль было со стороны глядеть: Михряшев гуляет, а приказчики волокут из лавок товар сколь мога.

– Экая жалость, подумаешь, а и ты на руку охулки не положил бы, Евстрат Семеныч; пожалуй, еще больше бы других волок...

– Уволок бы, потому я тогда этой самой водки даже не прикасался... Прямо сказать, – настоящим бы купцом делался.

– Ишь ведь... а-ах, жаль, право, жаль! Кажись, доведись даже до меня экой случай, так я бы не одну лавку уволок у Михряшева-то... – соболезнавал Секрет, ерзая по траве.

– Барин-то спит? – шепотом осведомился Важенин про меня, протягивая руку к бутылке.

– Спит... Так, совсем пустой человек: набегается по болоту, ну, и сейчас спать, – рекомендовал меня коварный Секрет.

Они выпили, пожевали какую-то закуску и долго молчали; Важенин был совсем пьян и начинал дремать, но Секрету

еще хотелось «дрызнуть», и он, как «практикованный» человек, «из-под политики» старался поддержать разговор:

– А где Харитина-то, Евстрат Семеныч?

– Померла нонешним годом...

– Вместе, значит, с Михряшевым?

– На одном месяцу.

– Добрая была душенька, дай ей, господи, царствие небесное! – вздохнул Секрет и даже перекрестился. – Заступалась она за нашего брата, когда Иван Антоныч зачинал лютовать. До смерти бы меня закатал, ежели бы не Харитина... И то замертво в лазарет унесли... Ох, лют был драть покойник!.. Я тогда у кричных молотов ходил, ну, тяну полосу, а Ивана Антоныча и принесло на грех в кричную. Поглядел, поглядел на мою полосу, а она с жабриной, ну, известный разговор: «Ты, миленький, зайди ко мне, как обед ударят...» Троихто нас позвал. Пришли. Он на крылечке этак летним делом сидит, в одном халате, и посмеивается: «Ну, миленькие, обижаете вы меня...» Тут же перед крыльцом меня первого и разложили, два здоровенных конюха у него были, ну и давай прикладывать. Только и драли – из кожи из своей рад вылезти, а Иван Антоныч посмеивается да приговаривает: «Не я тебя, миленький, наказываю, а сам себя бьешь... Попомни, ангел мой, жабринку-то, да и другому закажи! Еще миленькому-то поднесите горяченьких да харроших... Ну, ангелы мои, постарайтесь!..» Ну, слышу я, что уж из ума меня вы-

шибает, и базлатъ²

² Базлатъ (обл.) – кричать, горланить, реветь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.